



Надя Делаланд

МОЙ ПАПА БЫЛ
СТЕКОВЩИК

ИЗДАТЕЛЬСТВО «СТЕКЛОГРАФ» МОСКВА, 2019

УДК
ББК
Д29

Делаланд Надя
Д29 Мой папа был стекольщик. – М.: Стеклограф, 2019. – 70 с.

ISBN

© Н. Делаланд, 2019
© «Стеклограф», 2019

ПРЕДИСЛОВИЕ

Непрочную, на раз меня разбить—
вот я была, а вот меня не стало
(она была? Да нет, не может быть,
осколков мало).

Эта книга—хрупкое и драгоценное творение. Благодаря главному своему свойству—прозрачности—она, оставаясь материальной, насыщенной земной облюбованной жизнью, пропускает свет и, становясь лёгкой и светлой, приближает к миру невещественному и вечному. Эта книга воистину написана дочерью стекольщика, которая унаследовала острое ощущение грани, только её инструмент—не алмазный стеклорез, а поэзия на грани жизни и смерти.

Мир этой книги—преображённый, потому что находится в непрерывном соприкосновении с миром иным, и непредсказуемая явь, порождённая этим родством, выражена не декларативно, но словом, трепетно настаигающим и удерживающим её мимолётные отблески—словом, которое свободно во имя точности.

Прозрачные края, прозрачная кровь, прозрачный ветер, прозрачная простыня небес, прозрачная ваза и даже прозрачная тьма...—попадаясь вновь и вновь, этот эпитет говорит о прозрачности жизни и о свете, которым пронизана жизнь, и ещё он говорит о своей привязанности к существительному—к существу материи, к земному дому.

я не жилец я просто гость
в прозрачном и немом
полете мира твоего
но я хочу домой

Владимир Гандельсман

* * *

Мой папа был стекольщик, и теперь
я всем видна насквозь, совсем прозрачна.
Тем, кто за мной, легко меня терпеть,
когда не пачкать.
Непрочную, на раз меня разбить —
вот я была, а вот меня не стало
(она была? Да нет, не может быть,
осколков мало).
Но я еще, пусть незаметно, есть.
Ненужная, под солнечным прицелом
еще свечусь. Особенно вот здесь —
по центру.

* * *

Тело мое, состоящее из стрекоз,
вспыхивает и гаснет тебе навстречу,
трепет и свет всё праздничнее и крепче,
медленнее поднимаются в полный рост.

Не прикасайся — всё это улетит
в сонную синеву и оставит тяжесть
бедного остова, грусть, ощущение кражи,
старость и смерть, и всякий такой утиль.

Эту музейную редкость — прикосновение
и фотовспышка испортят и повредят.
Можно использовать только печальный взгляд,
долгий и откровенный.

* * *

так думает светящаяся тьма
чугунная ограда между веток
раскидистое ветренное лето
целующая в голову зима
так думает сворачивая влево
тихонько напевая в вышине
кецалькоатль весны по всей длине
струящий ослепительность напева
но кто я если это тоже я
скользя на лодке в центре отраженья
пытаюсь повторить его движенья
и чувствую прозрачные края

* * *

Яблоки на ветке, подойдешь —
вспыхнут молчаливым и осенним,
надо воздух каплями просеять.
Обнимаю. Скоро буду. Дождь.
Пахнет пылью, синим, и гроза
смотрит, запрокинувшись, и водит
по воде рукою и травую
вздрагивает, закатив глаза.
Не дыши. Губами пробуй лоб.
Я вот-вот. Темнеет над обрывом.
Ахнет оземь, грянет, это ливень,
ливень, ливень, никакой не дождь,
повезло. И памятник в слезах.
Вот и все, теперь терпи убытки —
яблоки лежат в воде убиты
ливнем. Ливень, ливень, я гроза.
В воздухе разряды и снаряды,
на земле в траве в воде лежат...
...каждое в руках бы подержать,
полежать бы с каждым рядом.

* * *

Вознесение. Дождь. Сын за руку приводит отца,
тот с улыбкой, бочком, мелко шаркая, входит, и кафель
отражает его водянисто, и несколько капель
принимает с одежды, и вовсе немного с лица
растворяет в воде, и тому, кто идет по воде,
прижимая подошвы, уже непонятно, кто рядом,
он скользит, улыбаясь, в нелепом телесном наряде
старика, собираясь себя поскорее раздеть,
раздеваясь, роняя, то руку, то ухо, то око,
распадаясь на ногу, на легио, на грустный набор
суповой, оставаясь лежать под собой
насекомым цыпленком, взлетая по ленте широкой
эскалатора – вверх, в освещение, в воздух, в проток
светового канала, смеясь, понимая, прощая
старый панцирь, еще прицепившийся зубко клешнями
к незнакомому сыну, ведущему в церковь пальто.

* * *

Бог не старик, он — лялечка, малыш,
он так старался, сочиняя пчелок.
Смотри, как хвойный ежик непричесан,
как черноглаза крошечная мышь...

Но взрослые скучны, нетерпеливы,
рассеяны и злы, им невдомек,
какое счастье этот мотылек,
кружащийся над зреющей сливой.

И почему он должен слушать их,
когда его за облако не хвалят?
...Ну что же ты? Как мне тебя обнять-то?
всех вас троих...

* * *

Ребенок с возрастом перестает нудить,
требовать, чтобы ему уступили место в маршрутке,
понимает, что мамы нету, что он один,
что она умерла, что какие шутки.
Вот он едет растерянный и седой,
в старом тертом пальто, с незастегнутой сумкой,
совершенно такой же уже, как до
обретения им рассудка.

* * *

поезд поезд скоро ли я тронусь
что там ест похрустывая Хронос
где-то на границе с темнотой
плачут дети жалобно и громко
что же я как мне спасти ребенка
каждого кого окрикнуть стой
ой-ёй-ёй охотники и зайцы
раз два три увы не хватит пальцев
сосчитать грядущих мертвецов
у тебя щека в молочной каше
не умри женился бы на Маше
Вере с Петей сделался отцом
не стреляй у мальчика Миколы
скрипка он идет домой из школы
повторяя мысленно стихи
Пушкина все взрослые остались
теми же и даже тетя Стася
добрая и нет вообще плохих
положи на тумбу пистолетик
посиди немного в туалете
никого не следует убить
луковое горе наказание
я же десять раз уже сказала
выбрось пульки постарайся быть

* * *

Всеми своими буквами шевеля,
ломко тянусь потрогать тебя за сердце.
Слышишь меня? Как слышишь меня, Земля?
Маленький лагерь смерти, большой освенцим
(аушвиц-биркенау – стреляй, ложись...).
Можно ли убежать из слепого ада,
только наощупь зная, что значит «жизнь» –
там, за оградой.

* * *

Мерцающее утро. Долгий вход
в рассвет по затаившим радость крышам.
Зима молчит мелодией глухой
и, кажется, сама себя не слышит.
Но сразу видно – немота бела,
узорчатые лапки галок – звонки.
Кто ожерельем ходит по делам,
пустые не устраивает гонки.
Кто положил зерно на теплый люк,
тому простятся злые прегрешенья.
Не знаю, кто он, но уже люблю
его лицо, дыхание и шею.
Он шел во сне по зимней немоте,
чтоб накормить растрепанную стайку,
Он был Тобой, ходячий райотдел,
сосредоточенный на жизни сталкер.
Поцеловав повеселевших птиц,
сминал пакет и нес до ближней урны.
Свет замечал и начинал расти.
Иначе и не наступает утро.

* * *

Туман спадает... я его надеваю, а он спадает...
Не мешайте мне спать...
Что же дальше?

В детстве я протягивала лицо
маме и говорила: «Поцелуй
старую птицу».
Мама смеялась: «Какая ж ты старая?»
И целовала.

Теперь я иду, бормоча себе:
«Старая птица»
И отвечая: «Какая ж ты птица?»

Никто меня не поцелует.

* * *

Даниилу Чкония

Госпитальная хроника. Срывы ленты.
Из свечения вырастет день, в который
на кровати у мумии слушать лепет,
из бинтов доносящийся, слушать хором
всей палаты, пока еще — молодая
врач на утренний на обход на
этот раз подсядет к нему туда и
будет слушать (вишь она не уходит).
Он с раздробленной челюстью, еле слышно
говорит ей: «доктор, скажите... доктор...»
(замолкает, думает, громко дышит,
громко дышит, громко и очень долго).
Ничего — ни глаз не видать, ни носа —
забинтован так, что — пиши пропало.
Тихо-тихо в корках пануют осы,
иногда арбузно вонзая жало.
Она думает: «спросит сейчас — а буду
жить? А видеть? И только — ходить не спросит...»
«убежала бы» — думает. Но отсюда
иногда — выходят, вообще — выносят.
С напряженной жалостью смотрит в прорезь,
наконец он спрашивает: «смогу ли
целоваться?». Пауза. Сложно. Просто
врач подносит к прорези губы.

* * *

мне холодно светло и далеко
весенне и объемно светло-желто,
воздушно и на взлете напряженно
потом легко

мне медленно и плавно и еще
довольно долго для одной улыбки
но можно плакать и ползут улитки
гурьбой со щек

мне правильно так и должно идти
лететь и плыть лежать и продолжаться
понять смеяться больше не сражаться
совсем простить

мне кажется я знаю для чего
вот только обернуться и поймашь
капустница летящая из мая
зачем живешь?

* * *

из синей в клеточку воды
выходит зеленея лето
смеющаяся память где-то
в песке оставила следы
босых листов — клен на ладонях
бежал за шпирцем по пятам
он все еще немного там
где никогда нас не догонят
где дедушка выходит на
веранду и зовет нас с братом
и возвращается обратно
пока летают имена
надюша саша опускаясь
воздушно-капельным путем
и дождь идет и мы идем
и нас уже давно искали
нас не догонят но и мы
себя почти не различаем
на ламповой веранде с чаем
в саду сгущающейся тьмы

* * *

как же мне выжить если она смертельна
жизнь на минуту раньше меня с запасом
смелости умирают во мне растения
но постепенно чтобы не вся и сразу
первыми с красноватой резной бравадой
как оловянный солдатик нет деревянный
так одного сдержанными дровами
огненно очень прямо
и остается мелкая живность вроде
мышки-полевки белки заблудшей кошки
эти боятся смотрят так и уходят
глядя с испугом можно конечно можно
можно идти остается вода и рыба
но и они замерзают и воздух с гулом
выдохнув поднимается голем глыба
памяти возвратилась ура проснулась
все что я знала до вспоминаю после
соединяю если менять местами
если вдохнуть обратно весь этот воздух
все оживут но снова меня не станет

* * *

все солнечные дни открылись в ноябре,
ноябрь из окна — почти что чашка чаю,
аквариум теней, плывущих на ребре
по воздуху, который соткан из печали

ну что же ты, начнись! с разбегом в сорок лет
получится взлететь и в небе помаячить
ну что же ты, очнись, тyani другой билет —
кленовый, например, какой-нибудь поярче

не липовый, тyani, моя другая жизнь
расходится вверху далекими кругами
...по воздуху воды, минуя этажи
и крыши, где рыбак всем рыбам помогает

* * *

С той стороны зеркала пыльный паук,
мальчик разочарован разгадкой тайны.
Папа у мальчика был кандидат наук,
мама теперь рассеяна и печальна.
Зеркало было завешено пару дней,
тетя Полина ему подарила Киндер
с Халком зеленой птицы на самом дне,
мальчик его куда-то уже закинул.
Папа к нему приходит и говорит
медленнее и четче, чем было раньше:
как ни живи ты долго, да хоть умри,
ты все равно не знаешь, что будет дальше.

* * *

«А они все карчут и карчут», —
говорила она, и глаза бестелесного цвета
сторожевые
ресницы
сводила к прогоркшему носу.
С деревьев слетали, никак не кончались,
вороны, вороны,
они повторялись и гасли
в малиновом вареве
лужи.
Она говорила, и пальцы ее остывали,
ослабленно ники,
губами едва шевеля, говорила,
едва говорила, фрактала,
во сне бормотала,
в косынке лиловой,
в которой на море,
где чайки, а вовсе
не эти вороны, которые карчут
вороны и карчут.

* * *

Ляжешь, бывало, днем, до того устанешь,
под двумя одеялами и под тремя котами,
на большом сквозняке закрывая правое ухо,
так и спишь — то девочка, то старуха.
За окном дожди умножают собою жалость
вон того листа и медленно окружают
бомжеватый дом, в котором ты засыпаешь
под тремя одеялами и четырьмя котами.
И когда последний лист упадет на землю,
разойдутся все прохожие ротозей,
под пятью одеялами и десятью котами
ты заснешь так сильно, что спать уже перестанешь.

* * *

Дали холодную воду, зеленый свет,
можно идти и пить из воздушных струй,
нет никакого горя и смерти нет,
лето еще, Успение, долгий труд
жизни земной превращается в неземной
отдых от всех грядущих и дней, и дел,
милая Богородица, будь со мной,
спящая там, просыпающаяся здесь.

* * *

К. К.

Отрешенный взгляд уже, и руки
беспризорны. Медленно лицо
отсоединяется, все петли
аккуратно можно снять с крючка
и пересадить на новый. Это
те же роды. Видно, что в себя
погруженье плавное смиренно
осуществлено и жадо ндать.

* * *

Роне

умирать совсем не страшно
надо только захотеть
рыжий лес увидеть сверху
горы тихие и степь
спящую
совсем не сложно
надо просто лечь в постель
и смотреть на лес и горы
рыжий тихие и степь
спящую
совсем не больно
просто вышагнуть скользнуть
за дыханием сквозящим
в синеву и белизну

* * *

Пока Ты воскресаешь, я пеку
куличики. Пока под плащаницей
свет фотовспышки печатлеет лик,
зрачки сужаются, теплеют сухожилья,
приметы жизни проступают сквозь
заботливую бледность, я всыпаю
по горсточке пшеничную муку,
размешиваю с нежностью пшеничной.
Тем временем ожившее болит,
и голова, как будто бы кружился
на карусели, замечая вскользь
цветное и тенистое, вскипает,
а я взбиваю высоко белки
и погружаю в праздничное тесто.
Ты растираешь пальцами виски,
приподнимаешься и сходишь с места.
И плащаница, за ногу схватив,
продельвает ровно полпути
по полу осветившейся пещеры.
Свершившееся входит в область веры.
И только что, как отодвинул смерть,
сдвигаешь камень и выходишь в свет.

* * *

Весна, неприличная женщина,
пришла, и смеется, и шепчет,
зеленую томную шею
склонив, наслаждается шелестом,
движением и копошеньем,
сквозь тело струятся и множатся
потоки, вода прибывает –
макушка затоплена, сваи
пробиты травой – как положено
жизнь больше и все покрывает.

* * *

И вот — она увидела его после долгой-
долгой жизни, и слезы лились, как будто
возле лба внутри нее — уровень моря
и им просто больше некуда деться.
Она высохла, опустела, стала
сморщенной и хрустящей кожей,
слез или нежности полная — стала полой,
ни на что не похожей.
У нее отвалились руки, подумав,
подлюмились ноги — подлю и низко,
пополам, практически по мениску,
она стала дудка.
Навсегда к гортани язык присох, и
сквозь глаза уже невозможно видеть,
он поднес к губам ее — знал, что выйдет
звук высокий.
Он дышал в нее, извлекая голос,
из глупышки, дурочки, из пустышки,
и она звучала себе неслышно
долгим горлом.

* * *

Так любила его, так любила...

Воображала, что вот его — парализует,
они встретятся — она красивая, неземная,
с кем-то смеющаяся у колонны,
он — в инвалидной коляске, смущенный,
грустный, смотрящий в нее неотрывно.
И она обернется, поправит локон,
подойдет к нему близко и будет рядом.

Или вот — он при смерти. Или даже
только что скончался. Она как ляжет
на кровать к нему, молча отдаст полжизни,
поцелует, обнимет, и он воскреснет,
а она, напротив, слегка устанет
и какое-то время проспит почти что
мертвым сном.

Так любила его.

А теперь разлюбила — желает ему здоровья.

Т Р А Ф А Р Е Т Ы Д Л Я Ж И З Н И

1.

Дождь, любивший меня по дороге к метро
(говорила ему: если любишь – женись!),
расплескал под ногами прозрачную кровь,
серебряющуюся детородную слизь.
Был и голубь под аркой, и ангел в окне
с немигающим нимбом сырых фонарей,
вот и я понесла, вот и зреют во мне
подорожник, чабрец, зверобой и кипрей.
Водяные от мужа скрываю глаза,
засыпаю под утро и вижу во сне:
стебельки и листочки ползут прорезать
трафареты для жизни сквозь смерть.

2.

Из правой руки на пригорке вырастет мак,
из левой лодыжки – подснежник, из-под ключицы
одуванчик, чтобы дышать учиться
высоко, а возле бровей – гамак
паука с сияющим конденсатом,
на ветру дрожащим, из глаз – вьюнок,
изо рта – подсолнух, а между ног
Мосводоканал и Росатом.
Впрочем, скорее всего трава.
Так и буду цвести до заморозков, а после
окончания – снова начну. И тогда ты присядешь возле
меня и поймешь, что за птица моя голова.

* * *

сквозь нерассмотренную осень
пилить на скрипке старых ног
туда где главное не бойся
как смог
туда где будет утешенье
но отчего ты тормозишь
дослушать золотистый шелест
а зин?

* * *

Смутно и муторно видно фонарь и то,
как семенит на свету водянистый холод,
если листать твою руку, последний том,
класть на колени голову, уши, хобот,
можно понять другое — что нету дна
в темном колодце нежности и паденья,
это как смерть — уходишь в нее одна,
без телефона, без паспорта и без денег.
Можно не слушать и даже не отвечать,
можешь молчать, отвернувшись и притворившись.
Губы заходят справа в печаль плеча,
ловят меня за рифмы, сбивают с ритма.
Это как сон, из которого снова сон,
высунув хобот, качает меня и будит.
Дай поцелую за шею, шепну в висок,
плюну, прижму, пошлю... кто же так целует —
нет никого, только местные пустыри
анестезию пытаются сделать общей.
Нежность как смерть. Обе зреют уже внутри.
Первая ближе. Вторая немного проще.

* * *

Я себя чувствую плохо. А ты меня?
Что говорит тебе сердце от имени
спящих деревьев и снега летящего,
долгой дороги кружащей, кружащейся,
всё возвращающей в град заколдованный?
Чары наложены, -ованный, -ёванный
медлит закончиться день—раскачай его
в спять, в колыбельную, в свет нескончаемый.
Трубкой попыхивать, бравурно кашляя,
будет зима моя старая, страшная,
нежная бабушка в шапке из войлока,
жать на клаксон между ног у извозчика.
Странное дело—как будто я вспомнена,
целой деревней ходили на поиски
в топких болотах, в лесах и за горкою,
стала русалкою—скользкою, горькою.

Защекочу тебя, спрячу под лёд,
бойся, теперь нас никто не найдет.

* * *

Я хочу, чтобы все закончилось, перестало,
дверь захлопнулась, музыка задохнулась.
Из-за пазухи в тряпочке вынул старость,
схоронить в саду ее грусть, сутулость,
немоту, раскаянье, безуспешность,
невозможность выйти себе навстречу,
одинокий тремор прогулок пеших
на ветру — чем ветренее, тем легче.

И трамбуй кедрами милый холмик,
ликовать и больше о ней не помнить.

* * *

Между нами много воздуха и воды,
времени, расстояния, скорости света,
снега, людей, деревьев, чужой беды,
жизни и смерти.

Рук не хватает, и я отпускаю из
самую мысль, что это преодолимо,
я понимаю — нельзя говорить вернись
самым любимым.

Можно прощать, попроситься, чуть постоять
вслед уходящему, лучше успеть до ночи,
все, что попросишь, милый мой, жизнь моя,
все, что захочешь,
на — раскрываю ладонку — бери, дарю
все, чем владею, так делают все, кто любит,
первому встречному мытарю-январю,
пусть так и будет.

* * *

Я бешеный огурец: дотронулся — весь в стихах,
даже смешно. Даже грустно. Даже противно.
Все-таки — даже смешно.

* * *

Сдаю тело в приличном состоянии,
слегка поношенное,
но его еще можно
было использовать
так и так,
и даже вот так.
Примите его по описи,
заверните и спрячьте,
а я побежала
жить дальше.

* * *

Деревья дышат. Кроны в голубом,
светящемся и выдыхают — воздух,
я здесь, я здесь, губами — вот, и лбом —
вот, прикасаюсь не к тебе, но возле
тебя, а ты стоишь из немоты,
из ванной наготы перерожденья,
невидима, и все твои черты
раздеты, разукрашены. У женщин
с деревьями есть связь, и вот когда
одна уже не дышит, то другое
мерцает глубоко, течет вода
в корнях и превращается в твой голос.
Деревья дышат, слышат, говорят,
дотрагиваются, взлетают, пляшут
тебя собой, и волосы горят
прозрачным ветром, ломким, карандашным.

* * *

Всякая вещь тщится проговориться,
щурится, тянет губы, слегка плюется,
все мои тайны выдать стремится в лицах,
трогаю кружку, она несмешно смеется.
Я у нее печальная дура с нежной
нижней губой, что шепчу иногда ей прямо
в прорубь кофейной лунки о неизбежном,
о невозможном, ненужном, шепчу и прячу
каждое слово вместе с глотками в горло,
вечной ротацией слов наполняя время,
ну же, скорее, мне горько, мне очень горько,
долго нельзя терпеть, потому что вредно.
Знаешь все тайны? Ну же – теперь разбейся
(как не разбиться?). Лир. Или это Гамлет?
Лир. Или ладно, плюйся себе и смейся,
щурься, тянись губами.

* * *

и вот мы умерли и встретились и я
смотрю сквозь голову продумываю долгий
тоннель из памятных светящихся осколков
то жизнь моя (то ты) то жизнь моя
и вот мы мертвые молчим как неживые
и память смертную рассматриваем как
витраж в соборе легкокрылая рука
пронзает трогая наносит ножевые
и вот мы маленькие мертвые стоим
не зная имени не понимая речи
и нам становится все легче легче легче
как будто им

* * *

у августа в оранжевом живом
трепещущем свечении сквозь эхо
скользящих дней рассудок кружевной
и память из рассыпчатого меха
встаешь в него под утро наугад
бредешь босая в обморок озерный
где облако клубится как агат
и жемчуга выплевывает зерна
плывешь во тьме кувшинки разводя
и всхлипывая сном воды наощупь
идешь ко дну и вечность погода
выходишь на поверхность как на площадь
лежишь лицом к прозрачной простыне
небес и все светлеешь и светлеешь
но чувствуешь что ночь еще в спине
и если обернешься то успеешь

* * *

нас мало нас может быть нету
и кровью на дереве света
намечены вены и жилы
непрожитой жизни

* * *

Памяти Д. В. и Н. Э.

– здесь нет никаких предметов лишь имена
– здравствуй Диана скажет она
– здравствуй Нина и обретет в руке
имя розы (золотом на корешке)
здесь нет никакого света но темноты
тоже не видно – только выходишь ты
словно из-под воды проступает ворс
водорослей – на мертвой латыни «морс»

что-то другое
а тот кто сказал «не пей»
просто не знал детей

* * *

Вечной странницей в вечном ж/д ожидаю, когда
подадут мой плацкарт, трепыхая его сочлененья,
и я лягу на полку и буду не спать — города
и деревни за окнами скачут, во тьме коченея.
Сквозь рассыпчатый храп и чух-чух буду я различать
одинокую музыку. В панике пыли хлопчатой
проводница-луна, словно светодиод Ильича,
в хари раме живет отпечатком, печатью молчанья.
Горловое бессонное месиво длится, живет,
переходит в рассвет и, когда остается немного,
перед смертью как будто бы, я засыпаю и вот
жадно сплю, но во сне продолжаю смотреть на дорогу.

* * *

Грунтовка через холмы. Сэкономить пару часов.
Сквозь изгородь – и туда, где облако ест с руки.
В воздушной склянке ветров струится морской песок,
секунды текут кругом и вяжутся в узелки.
Не вышло преодолеть себя – так на гору лезь,
оскальзываясь, бреди по гравию и траве.
Быть может, там, в синеве и вечности, Тот, Кто есть,
приблизит лицо к тебе, как к бабочке – человек.
И в бездну если смотреть, а тут в синеву Его...
Стой столько, сколько стоишь, но дольше не задержись,
живи себе куда жил, откуда себя живешь,
сквозь изгородь и холмы, по-над-через жизнь.

* * *

вот так задерживают лето
руками в ветер упершись
оно смеется и стареет
вот так и жизнь

нельзя печалиться – преступно
не полететь от на мосту
летающей музыки растущей
сквозь гул и стук

шагаешь в бездну и внезапно
идешь по воздуху легко
в преобразившееся завтра
в трико

* * *

Снегозаписывающее устройство вышло на улицу с бабушкой Таней, прыгает, лает на белых пушистых, спящих по воздуху в диком блаженстве, ходит такое по брани сезонов в курточке радостное с капюшоном, вот и живет по дороге от дома к дому, в котором свернулись дороги. Голос! Нагиев деревьям гав серы, кожа вся в цыпочках новой прохлады, утро заходит дыханием справа, глазом вращая, незрячим гав оком. Бабушка Таня с холщевой сумкой, с розовой кромкой ночнушки торчащей из-под пальто наблюдает за снегом и за собакой, и снова за снегом. В сумке размоченный хлеб и немного старой крупы, десять метров до люка, голуби, головы свесив и клювы, смотрят на снег и опять на собаку.

* * *

надо не наступить на еще живых
ползающих фаллических дождевых
голых немного вымышленных червей
корчащихся от холода на земле

* * *

Зоркость света, падающего по воде
вдаль, афалина солнечного струенья
улыбается, вчитываясь в строенье
атома. Тут заканчивается день,

не успев обернуться на резкий окрик
самого себя, пробегая в дверь
повторенья (так принято в той игре,
из которой каждый выходит мокрым).

Плеск удваивается, что-то шепчет в рот
спящей набережной просторечно рыба,
умирая, но кажется, что — спасибо,
не в смысле просьбы, а — наоборот.

Бог берет ее в руки, подкидывает вверх,
чешуя, поблескивая, осыпается на песчаный
берег, медленно кружится над причалом,
чтобы было похоже на сон, да — морпех

бродит по морю, когда не спится,
поднимает рыбу, превращает в птицу.

* * *

Ясно. Всё понятно — утро.
Молоко, дымящееся в кружке,
пахнет снегом. Надеваю куртку.
Кошка вслед задумчиво воркует.
Так выходят в море, к горизонту,
к горизонту, всё воображая
сложности, сплетения, узоры —
линией растянутой ужасно,
плоскостью обёрточной бумаги,
Землю подарившей спозаранку.
Снег сверкает мимолётный, наглый,
радостный, расслабленный, заразный.
Лыжи заплетаются от счастья.
И сама смеюсь, дегенератка,
падая в сугроб его молчанья,
тысячеалмазовокаратный.
Глуповато. Глуповатто как-то.
Жук, упавший на спину, младенец —
всё одни нелепые повадки
старости, беспомощности, детства.
Мудрости передоверить взятый
сундучок с сокровищами майи...
вот ведь как они легко скользят и
в воздух освещенный поднимают!

* * *

Марине Гарбер

По голой ветке гладит дерево
стремительно и тянет в облако,
закрой глаза, тут много серого,
закатного, так пахнет обморок.
Кругами зябкими простуженно
шагает — длинный и невидимый,
теряю женственность и мужество,
сморкаюсь, пробую обидеться,
смеюсь. Над озером склоняются
несуществующие ветрено
и отражаются из жалости,
перебирают дробно ветками,
живые, маленькие, сонные
молчат мне в воду незначительно,
на ручки просят и, собственно,
усыновляются. Молчи теперь
об этом озере с сиротами,
раздетыми и монолитными,
о тех тропинках с поворотами
на юг под выцветшими липами,
под выпившими и поющими,
качающимися и стаей
летающими, поправ имущество,
лишвы недвижимость оставив.

* * *

Мам, я умру от старости и смерти.
Мой полный нолик побеждает крестик
кладбищенской сирени, дух медовый
гудит над полем низко и продольно
(побудь подольше!). Рот реки смеется,
захлебываясь, пропуская солнце
сквозь линзы поднебесного гипноза.
Боль затекла, но не меняет позы,
дрожат ресницы – ласточкины всплески
крыла и крика. Навести на резкость
оптическую руку и потрогать
лицо у неба, ногу у дороги,
живага Бога.

* * *

Сколько милосердия в последовательности станций —
после Беговой — Полежаевская и обратно,
удлиняется время, съезживается пространство,
можно выйти, можно остаться.
Колесо сансары, будь кольцевая!
На любую ветку — и просветление,
каждый раз по-разному называя,
или просто взрослея.

* * *

Багульник зацвел фиолетовым светом
и вот иномирен теперь и лучист
кварцует всю кухню и пахнет бессмертно
весенним осенним дрожаньем свечи
багульник какой ты багульник какой ты
багульник багульник (как ты щегловит)
цвести очень больно ужасно спокойно
и ваза прозрачна и тоже болит
ведь ты не багульник конечно ты выход
сквозь это свечение в самую глубь
роение атомов собственный выдох
цветущими ветками взорвана грудь

* * *

Такая выдумщица! Дрессировщица
орлов и куропаток... В легком платье
мосты и крепости постит в песочнице!
А рассыпаются — она не плачет.

Так сверху донизу она пронизана
закатным заревом, что гул свеченья
весь воздух выволок наружу, вызволен
прозрачный, радужный — из заточенья.

И в этом мареве ей ловко вынести
любое обрушенье. Тот, кто смотрит,
хранит песочницу, не смея выбросить
стеклянный шарик. Что там? Новый фортель

какой ты выкинешь, смешная, милая
(в горячей темноте редет память,
заканчивается) (но мимо, мимо все...)
Смотри, достроила! Гляди, упала!

* * *

так обессилела что голову поднять
прозрачную за гранью продолженья
проснусь ли вынырну узнает ли меня
стеклянный водяной из отраженья
но если выдохнуть открыть открыть глаза
открыть открытые и потянуться тонкой
рукой внимания к реальности то за
холстом нащупаешь свечение в потемках
течет по пальцам проникает раздробив
луч дополнения захватывает локоть
плечо и грудь глаза заводит и знобит
проектор щелкает и водяной не смотрит

* * *

за окном это красное полусухое шуршит
опрокинув немного воды по дороге к рассвету
обернусь прямо в прошлое кто-то его ворошит
стариковской метлой и бумага вот тоже краснеет
отойди убегай или сделаю злое лицо
уноси свои грабли и черный пакет с головою
ты был дворником-трусом сантехником бы подлецом
ты смеялся в рукав и гулять выходил под конвоем
а теперь во дворе глухомань умирающих крон
задохнись и увидишь лиловые всполохи дыма
без огня потому что никто никогда не влюблен
и никто никогда и никем никогда не любима

В С Я К А Я Т В А Р Ь, К Р О М Е

Пот, пахнувший травой. Стрекошет тишина
в стогу кровати. Свет, запутавшийся в шторе,
перебирает нас руками ветра, на-
всегда соединив и сразу же расторгнув.
Еще трепещет пульс, еще немного сбит
вдох выдохом, еще расплывчатая нега,
но зеркало кровать безжалостно гамбит,
где мы лежим конем, валяемся точнее.
Чей ход лежать и ржать, тот, очевидно, я,
смех наполняет шар воздушный и, качаясь,
взлетает к потолку, чей ход, в ответ смеясь,
смотреть на то, как я от хохота кончаюсь.
И призрак Беранже витает надо мной,
в конвульсиях ха-ха рыдающей, визжащей,
хрипящей. Обернись! Что там с твоей женой?
Смеющаяся. Спящий.

* * *

но жалость пересиливает всё
когда сидит обиженный и толстый
подходит бесконечный близкий взрослый
и на руки берет несет несет
несет качает и души не чает
и солнце постепенно настаёт
и сладко пахнет и весь день поет
огромными веселыми лучами

* * *

я несла свою голову в рюкзаке
все оборачивались шептали беззвучно
было легче но это не значит лучше
так и шла по городу налегке
голова лежала в прозрачной тьме
шевелились змеи волос ветвисто
и персей целовался во мне неистово
с андромедой ласковою во мне

* * *

Внезапно чувствую лицо теплее —
ты меня подумал. Глаза отвел, закрыл глаза,
провел ладонью, вспомнил голос.
Что это значит? Ничего.

Все это ничего не значит.
Еще немного и пройдет,
как след от самолета на
прозрачном животе небесном.

* * *

видимо на фоне пережитого стресса
по дороге домой в маршрутке
мои руки начали обниматься
мне пришлось раньше срока выйти
отдышаться прийти постепенно в норму
руки мои грабли глаза ямы

* * *

есть не жильцы а есть жильцы
там в доме номер ноль
стада серебряной пылицы
седой веселый рой
то принимает форму рук
роняющих перо
то прячет в черную дыру
жучка и за дырой
следит блестящей долготой
и мокрой широтой
дождя но это не потоп
потоп у нас потом
я не жилец я просто гость
в прозрачном и немом
полете мира твоего
но я хочу домой

Г Д Е Т В О Е Ж А Л О

1.

Вот я и вышла в сад
утренний, неземной —
пчелы в лучах висят
солнца, гудящий рой
света пронзил и, вдруг
медленно подхватив,
в небо поднял и, круг
сделав, не опустил.

2.

Смерть прекрасна, когда выходишь,
оставляя. И видишь яркость.
Точен легкий рисунок пульса
возрастания всех травинок,
донной рыбы уловлен выдох,
и лицо мотылька подробно.

3.

ходишь в руки свои как в перчатки
в ноги в голову чтобы сидело
хорошо но ведь знаешь сначала
я не тело

тело только скафандр и не больше
дальше чувствуешь новое чудо
как бы ни было сладко и больно
я не чувства

я не гнев и не радость и даже
я не знания мысли не голос
говорящий во мне я не разум
я другое

* * *

бычат быки и пчелы над травой
бычатятся на немоте счастливой
сложив четыре лапки на живот
ромашка ждет полива терпеливо
и нет войны а есть один лишь мир
никто не мертв все безмятежно живы
сияет май над вечными людьми
растет олива

* * *

Там он есть как оставленная возможность—
вопросительный знак, прикосновение ветра
к облаку, в сущности—эфемерность
всякой просодии. Неотложной
помощью выведен и погашен,
может быть, ключ басовый для левой, левой.
В детстве, когда я легко болела
и умирала совсем не страшно,
он все звучал у меня в подвздошь
гулом подземным, музыкой неземною
из головы опускаясь волною в ноги,
делаясь громче, захватывая все больше,
он продолжался, меня превращая в струны,
в нотную грамоту, ясную пианисту,
и я записывала себя так быстро,
что прочесть потом было трудно.

* * *

Не уводи меня речь, я хочу сказать,
что не начавшееся завершается лето,
что ускользает материя — ускользать
из ослабевшей памяти (нет, не это),
из ослабевших пальцев, пока строчит
швейная ручка буквы широким шагом,
апофатически (нет, и не то), молчит,
терпит и терпит стареющая бумага.
Книгу сошью огромной кривой иглой,
где на полях написано васильками,
что ничего остаться и не могло
из аккуратно сделанного руками.

* * *

стихи не существуют потому
что их не может быть и голосистый
кончает трелью на пределе смысла
не обращенной в общем ни к кому
на самокате лысый человек
на свистывает в сторону заката
все выше становясь и здоровей
быстрее ветра света самоката

СОДЕРЖАНИЕ

| | |
|---|----|
| Владимир Гандельсман. Предисловие | 3 |
| «Мой папа был стекольщик, и теперь...» | 4 |
| «Тело мое, состоящее из стрекоз...» | 5 |
| «так думает светящаяся тьма...» | 6 |
| «Яблоки на ветке, подойдешь...» | 7 |
| «Вознесение. Дождь. Сын за руку приводит отца...» | 8 |
| «Бог не старик, он – лялечка, малыш...» | 9 |
| «Ребенок с возрастом перестает нудить...» | 10 |
| «поезд поезд скоро ли я тронусь...» | 11 |
| «Всеми своими буквами шевеля...» | 12 |
| «Мерцающее утро. Долгий вход...» | 13 |
| «Туман спадает...я его надеваю, а он спадает...» | 14 |
| «Госпитальная хроника. Срывы ленты...» | 15 |
| «мне холодно светло и далеко...» | 16 |
| «из синей в клеточку воды...» | 17 |
| «как же мне выжить если она смертельна...» | 18 |
| «все солнечные дни открылись в ноябре...» | 19 |
| «С той стороны зеркала пыльный паук...» | 20 |
| «„А они все карчут и карчут“...» | 21 |
| «Ляжешь, бывало, днем, до того устанешь...» | 22 |
| «Дали холодную воду, зеленый свет...» | 23 |
| «Отрешенный взгляд уже, и руки...» | 24 |
| «умирать совсем не страшно...» | 25 |
| «Пока Ты воскресаешь, я пеку...» | 26 |
| «Весна, неприличная женщина...» | 27 |
| «И вот – она увидела его после долгой...» | 28 |
| «Так любила его, так любила...» | 29 |
| Трафареты для жизни | 30 |
| «сквозь нерассмотренную осень...» | 31 |
| «Смутно и муторно видно фонарь и то...» | 32 |
| «Я себя чувствую плохо. А ты меня?..» | 33 |
| «Я хочу, чтобы все закончилось, перестало...» | 34 |
| «Между нами много воздуха и воды...» | 35 |
| «Я бешеный огурец: дотронулся – весь в стихах...» | 36 |
| «Сдаю тело в приличном состоянии...» | 37 |
| «Деревья дышат. Кроны в голубом...» | 38 |
| «Всякая вещь тцится проговориться...» | 39 |
| «и вот мы умерли и встретились и я...» | 40 |
| «у августа в оранжевом живом...» | 41 |
| «нас мало нас может быть нету...» | 42 |
| «–здесь нет никаких предметов лишь имена...» | 43 |
| «Вечной странницей в вечном ж/д ожидаю, когда...» | 44 |
| «Грунтовка через холмы. Сэкономить пару часов...» | 45 |
| «вот так задерживают лето...» | 46 |

| | |
|--|----|
| «Снегозаписывающее устройство вышло на улицу...» | 47 |
| «надо не наступить на еще живых...» | 48 |
| «Зоркость света, падающего по воде...» | 49 |
| «Ясно. Всё понятно – утро...» | 50 |
| «По голой ветке гладит дерево...» | 51 |
| «Мам, я умру от старости и смерти...» | 52 |
| «Сколько милосердия в последовательности станций...» | 53 |
| «Багульник зацвел фиолетовым светом...» | 54 |
| «Такая выдумщица! Дрессировщица...» | 55 |
| «так обессилела что голову поднять...» | 56 |
| «за окном это красное полусухое шуршит...» | 57 |
| Всякая тварь, кроме | 58 |
| «но жалость пересиливает всё...» | 59 |
| «я несла свою голову в рюкзаке...» | 60 |
| «Внезапно чувствую лицо теплее...» | 61 |
| «видимо на фоне пережитого стресса...» | 62 |
| «есть не жильцы а есть жильцы...» | 63 |
| Где твое жало | 64 |
| «бычат быки и пчелы над травой...» | 65 |
| «Там он есть как оставленная возможность...» | 66 |
| «Не уводи меня речь, я хочу сказать...» | 67 |
| «стихи не существуют потому...» | 68 |

Надя Делаланд МОЙ ПАПА БЫЛ СТЕКОЛЬЩИК

Дизайн и вёрстка: Дмитрий Макаровский

Автор обложки: Владимир Симонов

Автор внутренней обложки: Борис Кукин

Печать цифровая. Тираж 400 экз.

Формат 60×90/16. Объем 4,375 усл. печ. л. Заказ № 0000.